

Мои деревья тоже хотят жить

Один. Два. Три. Четыре.
Сколько еще осталось?
Кровь уже не течет в венах Живых, их тень не падает на землю столько лет.
А люди любят резать.

Они любят пилить и подтачивать, думая, что обнажают идеальные формы — а в сущности, оставляют голый каркас, скелет. Ни плоти, ни обители формы.
Они питаются иллюзией безопасности. Иллюзией порядка. Это монополия власти разумного существа.

Мои деревья отмечены полосатыми лентами.

Пря спуд.

Мои деревья мешают людям жить.

Люди не могут спать спокойно, пока в их власти резать, кромсать, рубить.

Люди не могут принять свободу, хотя так много говорят о ней. Нет, им не познать свободу.

Живых.

До чего же скудные существа. Может быть, у них и есть разум, но их воля подгнжена чему-то внутри них. Чему-то, что не в их власти. Чему-то, чему они не могут не поддаться и до чего не могут дотянуться. Они думают, что это поразок. Правильное.

Я слышу резонанс этого некто. Оно порождает действия людей во внешней среде. Люди думают.

На самом деле некто внутри них просто соединяет один электрический контакт с другим.

Подсоединяет волокна, так незаметно.

Мои деревья стоят и плачут.

Мои деревья полны надежды и жизни, которую могут услышать только Живые. Мои деревья тянут ветви к солнцу, потому что любят жизнь.

Мои деревья никогда не перестанут прорастать из под земли и соединять собой системы и миры. Живые знают, как жить с деревьями. Живые уважают деревья, как уважают старших и мудрых.

Тот проклятый человек только и думал о том, что огромное дерево, растущее возле его дома, упадет. Неизбежно упадет, о, ведь деревья должны падать! Оно упадет на дом, пока тот спит и раздавит ему голову. О, нет же! Корни дерева будут расти и прорастут в дом, сломают фундамент и пустят трещины. Человек, одержимый властью пилить и упорядочивать неостановим. Разве кто-то говорит, что порядок — это не благо? Порядок, подчинение, контроль. Везде оставлять свои метки, словно ты властелин земли, пусть и размером в две сотки, которые тебе даже не принадлежат; но просто никому нет дела.

Люди любят голые фасады. Стены домов “окно-в-окно”. Безопасность. Люди любят графически резкие формы остриженных кустов: нелепо обнаженные стволы стыдливо торчат. Ничего. мы тут подпилим, там подрежем. Да, пожалуй лучше вообще под корень. Порядок.

Так человек, испытавший нетерпение попробовать себя в парикмахерском искусстве радикально решает вопрос: “Все равно криво, все равно не нравится, все равно торчит”.

Только волосы — как говорят — структура мертвая. И растут быстрее.

Голые голые дома. И вокруг — только следы человека. Повсюду расставлены метки: ты не один, и тебе никогда не укрыться даже от ветра; жизнь — вот такая, а свобода — это свобода решать, что она вот такая. И спиливать деревья, потому что они:

затеняют окна, сбрасывают листву (ее надо убирать), топорщат землю или асфальт корнями, растут буйно и высоко и задевают линии электропередач, порождают страх контроля природы над человеком, деревьям место в лесу (а где заканчивается лес, мы перепишем), деревья качаются на ветру, под ними может спрятаться человек во время грозы и умереть, если попадет молния.

- а теперь некрасиво, поэтому давайте уже под корень.
- а теперь так пусто, давайте посадим молодые деревья.

Которые никогда не поднимутся выше среднего человеческого роста.

Сказ-инициация длиною в жизнь

— Я оставила следы, чтобы ты шла по ним.

— Но я не вижу следов.

— Слова, произносимые тобой — это следы.

Ритм твоего дыхания — это следы. Песнь твоего сердца — это следы.

Что ты хочешь видеть?

— Но как я могу идти, когда поток страха и боли не контактирует, когда все, что я называю о себе, я не хочу знать, когда мысли затмевают песню тела, когда голос непрерывно начинает глгать, когда.

— Продолжать. Продолжать идти, рана руки о заросли ракушечные, рана пальцы о терновые ветви, пачкая стопы в мокрой земле, продолжать вдыхать запах леса ли, болота ли, песка ли. Продолжать, продолжать, продолжать.

— Далеко ли?

— Если будешь задавать этот вопрос, никогда не закончишь.

— И куда я приду?

— Будешь идти столько, сколько нужно и придешь туда, куда должно тебе прийти.

— Так в чем же смысл во всем этом?

— Нет никакого смысла. Есть След. Твоя тропка состоит из всего, чем ты являешься. Иди

по ней стоит только для того, чтобы посмотреть.

— А нет пути покороче, так чтобы раз — и все узнать?

— Таких путей нет и быть не может, ибо ни одно знание не может быть полным. Оно может быть только такого размера, какого размера ищущий его.

— Я вижу след. Тот упавший лист. Первый упавший лист.
 Что же будет дальше? Лист упал на землю. Скоро он укроет её всю.
 Но пока ещё можно напечатывать рачкам, пока ещё можно танцевать вобсю.
 Танцевать. Это так больно, что я обросила себя на этом пути. Я никогда
 не танцевала по-настоящему. По-настоящему я вообще никогда не жила. В
 се выдумка. Я всю себя выдумала, поглощая все подряд, не давая себе ни грамма пустоты.
 Чтобы не вспоминать порочный круг, которым я живу. Чтобы каждая новая тема казалась
 дверью из него, хотя в душе я никогда не хотела с ним расставаться. Я сойду с орбиты. Я
 сойду с ума. Я умру от голода и жажды, и некому будет протянуть мне руку.

Я все это выдумала только что. Я отравлена и рада быть отравленной. Вот что я чувствую
 на самом деле. Река во мне не течёт. Она покрыта шлом, не плодородным, а едким. От него
 дыхание становится редким и наполняется платем. Я не хочу плакать. Ничего не получится,
 если я разревусь. Я нигде не приду. Но подожди. Разве это не очередной след?

О, эта дорога не кончается. Это кончается моё желание идти по ней. Куда лучше остаться
 там, где я есть и сгинуть в этом болоте. Сгинуть в болоте. Позволить Ей засосать меня
 своими черными лапищами. Нет, мама говорила никогда не разговаривать с такими, как
 Она. Она. Кто она? Та, кем я всегда хотела быть, но не могла себе позволить. Разреши
 себе видеть. Разреши себе видеть. Разреши себе видеть.

Я ухожу глубоко в живот. И смотрю на мир из живота.
 Я никогда не рождалась? Или просто вижу из себя? Теперь цветущие поля
 открываются моему взору. И я вдыхаю полной грудью аромат родной
 земли. Мама, потому ты оставила меня!
 — Уиши. Уиши. Уиши. Уиши.
 — Значит, вот как выглядят эти следы.
 — Да, сегодня, пожалуй, так.

Я открыла глаза и встретилась с Ней взглядом. Фиолетовый отблеск смеялся в цвете её
 глаз. Пахло дождем. Я позволю ему смыть все, даже если мне придётся бежать голой по
 шоссе, чтобы добраться до хижинки, в которой нас ждут глиняные горшки, наполненные
 смесью крови и молока оленя.

Огонь в моей груди горит ярко и больно. Я бы хотела не испытывать боль. Я чувствую
 ненависть к боли за то, что она изменяет мой ритм, моё тело, мою жизнь. Я чувствую
 ненависть к боли и нежелание касаться себя.
 Да, теперь я вижу, что следам не счесть числа. Каждый из них — вызов. Ступаешь
 вперёд, и вот следующий.

— Но ты всегда можешь остаться в том, где ты сейчас. Обнять это насколько можешь, не
 разворачивая дальше эту спираль.
 — Могу!
 — Можешь. Каждый след содержит в себе приют.
 — Да. Пожалуй, я останусь пока здесь. Пусть все станет ясным для меня здесь.
 Только потом я двинусь дальше в путь.
 — Не раньше, чем закончится здесь и-и-сейчас.
 — И не позже.

Волчья шкура. Сказ о возвращении голоса

Моренн спустилась с холма. У подножия, под невысокими деревьями стояла такая тишина, что даже снег не осыпался с мягких еловых лапок. Здесь, в лождинке матери-природы, она в последний раз превращалась. Память об этом еще теплилась в ее запястьях и стопах, болезненно пульсировала в горле. Здесь, в расщелине камней, где всегда тепло и сухо, она любила засыпать и просыпаться кем-то совершенно другим. А затем работа ног делала свое дело, и по мере того, как Моренн выходила из леса, она окончательно принимала другую форму. Но было это давно. Кажется, и елей этих тогда еще не было. И солнце висело не так высоко. И звезды загорались с востока, а не с запада.

Но сегодня день с самого утра казался странным. Странным потому, что сама для себя Моренн стала странницей, и это новое чувство едва заметно обжигало затянущиеся рубцы души, словно запечатывая в них невидимую силу, благословляя. Подойдя к границе леса, Моренн обошла по кругу несколько деревьев — старых сосен и совсем древних дубов — прислушиваясь к ним то правым, то левым ухом, а затем уселась у одного из них, опершись спиной.

Она едва прикрыла глаза, как в тот же миг взбудораженный вой заставил ее распахнуть их во всю силу, а сердце забиться так гулко, будто оно — ритуальные барабаны, готовые к какому-то событию.

— Ты могла бы спеть эту песню, — мягкий баритон полушепотом проник в самую сердцевину ее груди и заставил — нет, не обернуться — вздохнуть всем телом и одмянуть, растекаясь вдоль сильного створла. Широком, смолистым соком доверие перетекало в ее теле, сверху вниз, снизу вверх, сдвигая что-то внутри, может быть, даже склеивая, скрепляя. Доверие зеленым росточком прорывалось на поверхность, стравливая прошлогоднюю листву, шелуху какой-то другой жизни. Она обернулась. За деревом стоял он. Большой черно-серый волк с подпалинами на задних лапах. Он выразительно смотрел на нее. Так смотрел, что возникало чувство, будто бы она сама на себя смотрит. А затем волк издал такой звук, будто бы сплюнул, развернулся и побежал в сторону леса. Моренн снова выдохнула. И, свернувшись у дерева, закрыла глаза. И открыла их во сне. Открыла их изнутри. Она стояла у входа в расщелину меж камней, а внутри, на высохшем лапнике, лежала снежно-белая волчья шкура. Но не прозвучали барабаны сердца. Тишина распустилась и растянулась, оплетая собой каждую трепещущую искорку души, каждую дрожащую пробуждающуюся жизнь веточки. Моренн протиснулась в расщелину, улеглась на шкуру и снова закрыла глаза. Когда странница их открыла, ночь уже расцвела, а она по-прежнему лежала, обняв руками основание соснового ствола. Лицу и рукам было холодно. Но горячий упругий комочек в животе, меж ребер, не позволяя ей замерзнуть. Она чувствовала его пульсацию, и когда начинала прислушиваться к ней, ощущение собственных глаз становилось иным. Зрение становилось иным. словно она никогда не просыпалась.

Она стала подниматься на ноги, чтобы начать свой путь обратно на холм, домой. Резко метнувшись перед носом, желтые искры заставили ее почти потерять равновесие, но замерли напротив. Горькое волжье дыхание ударило по лицу, и из груди Моренн вырвался то ли крик чайки, то ли девичья брань. Волк развернулся и потрусил к подъему на холм. В тот момент, когда он обернулся, в груди Моренн снова возник шепот: — Так ты останешься в промежутке? И она пошла вслед за ним. Он ускорила шаг и уже почти бежал. Слишком быстро для нее. Она теряла из виду волчий силуэт, хотя его размеренное дыхание в ее груди никуда не исчезало. Оно было связующей нитью. Моренн пробежала еще быстрее. И все равно не могла догнать его. Он выдвигал не прямой подъем на холм, словно рассчитывал обойти его, а не подняться. И еще быстрее. И еще.

И тут Моренн обнаружила, что может бежать на четырех лапах. Она чуть было не споткнулась то ли от неожиданности, то ли от того, что запуталась в них, но вмиг оказалась рядом с волком. Его бег не показался ей теперь таким уж быстрым.



Они переглянулись и, не достигнув подъема, остановились. На склоне холма уже не было снега. Здесь весна всегда приходит раньше. Моренн ощутила, как в ее теле собирается импульс. Живот и грудь жгло, дышать становилось невыносимо. Дрожая, она издала сладкий звук, похожий на тахоточный кашель, а затем, широко зевнув, отпустила импульс, что так яростно жег нутро. Вдох он залил окрестности и рухнул с холма на верхушки деревьев.

“Как долго.” — услышала она свой голос внутри.

— Так-то лучше, не правда ли? — возник в ее груди бархатный шепот волка. На этот раз

с оттенком полушубки.

Они переглянулись и побежали по кромке холма, в обход вершины с ее теплыми домами. Еплыми, но такими далекими.

Чужими.

Сказ о женщине с двумя лицами

Эту историю нараспев передает каждая птичка Южной Мексики, Юго-Восточной Европы, Средиземного моря и Средней Азии. Должно быть, ее знает сама Земля, но среди людей она вовсе не популярна.

Эта история о том, как однажды ветру повстречалась женщина с двумя лицами. Ветер заметил ее, когда она стояла под сенью стираксового дерева, и белые цветки, кружась, ложились на ее терные локоны. В сумерках казалось, будто цветы светились, и светилась ее кожа. Светение переметнулось к глазам женщины, когда она сделала несколько шагов вперед. Ее босые грязные ноги казались, впитывали жар земли, что производило впечатление, будто она предвечает в нескольких местах одновременно: здесь и еще где-нибудь. В своем рваном белом платье она так походила на беглую сумасшедшую принцессу, глубоко-глубоко погруженную в свои сны и фантазии, что над ней, должно быть, не посмеивались разве что животные, попадавшие по дороге к пропасти. Она сделала еще пару шагов вперед, вдруг пальцы ее ног зацепились за обрывистый край и, потти белея, сжали землю. Но куда же она смотрит?

Похоже, она стремится разглядеть созвездия, которых еще не видно в светлой акварели неба. Ее глаза сияют, как у реченка. Ветер треплет платье и волосы, словно в нетерпении перед сладострастным экстазом; ветер срывает цветки стираксы и уносит гирляндой в пространство под ногами женщины. Она и сама отдается ветру, позволяя ему унести себя в бездну, в хаос, ведь ее не волнует смерть, как не волнует рождение.



Она явно безумна, если предпочитает подобные цыры. Она безумца, ведь ее взгляд реченка не видит и не может видеть цель. Хотя подобно реченку она знает «потемки», но ее вовсе не болнует «куда» и «как», поэтому она одоладет свободой нырять в бездну и парить над ней. Ее путь легкий, ведь все, что есть у нее — ее сущность, у нее нет даже платья. Должно быть, весь мир ее иррационален, раз она позволяет себе довериться миру, доверять ветру, довериться бездне. Кажется, что она в исступлении уже летит с обрыва, одержимая одной ей ведомой свободой.

Я все еще в стирасковой рожице. Но совершенно внезапно женщина поворачивается ко мне спиной и медленно идет вдоль обрыва. Ее ступни перемещаются, будто по лезвию; танцуют на лезвии. Но все совершенно иррационально; кажется, что женщина движется спиной вперед, ведь на ее затылке другое лицо. Она улыбается мне своим вторым лицом — лицом мудрой женщины, лицом богини неведомого океана, лицом первичной нематерии. Конечно, я никогда более не увижу ее; но наверняка ее видела каждая птица — и здесь, и еще где-нибудь. И песнь о ней будет звучать, пока звучит этот мир.

Она привыкла чувствовать чувства наизнанку, словно наыворот. Не называя их, не давая им имён, а как есть — пропускала через себя сырой поток, который распускался внутри, на лету, цветами: оттенки чувств представляли звуками, прикосновениями звука и цвета изнутри, под кожей. Вкусовыми ощущениями, порождающими визуальный ряд, который снова возвращался в пульсацию под кожей и вкус, звук, цвет. Голос. Движение. Это не имело названий. Это была жизнь.

Вечное колесо движения, состоящее из плетений и потоков. С каждым его поворотом картинка сменялась, словно обрстая плотью прямо в воображении. Или это священный исток чувственности делал её осязаемой?

Она не знала имён своих чувств и потому говорила картинками. Часто её речь была похожа на античную мозаику, которая вновь увидела свет: некоторые детали рисунка отсутствовали, некоторые — едва читались. И на месте утраченных смыслов — пробел. Пустота шрифта.

Перенос строки. Она приглашает:

«Ты видишь картинку целиком. А «битые пиксели» досмотри сам, собой, своей сутью»

Она говорила небесами.

Она роняла звёзды и разбрасывала ворохи облаков, словно создание и разрушение мира — будничная забава себе на потеху.

И в этом-то и была проблема: чтобы показывать другому мир, ей было нужно быть собой. Но быть настолько собой, чтобы говорить внятно, обходя имена, она не могла. Песни звенели у неё под языком монетой, а в ушах стоял совсем другой голос, произносящий затёртые столетиями слова.

Она не могла говорить.

А не говоря, она не могла летать.
И оттого не была воплощённой.